

Быть

больным



Вирджиния

Вулф

**Джулия Стивен
Вирджиния Вулф
Быть больным. Записки
из комнат больных**

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73843328

*Вирджиния Вулф, Джулия Стивен. Быть больным. Записки из комнат
больных: Ад Маргинем Пресс; Москва; 2026
ISBN 978-5-908038-86-7*

Аннотация

В эссе «Быть больным» (1926) Вирджиния Вулф затрагивает вопрос: почему болезням – повседневному и неотъемлемому явлению человеческой жизни – посвящено непростительно мало текстов? По мнению писательницы, которая сама немало страдала от телесных недугов, вынужденно оторванному от привычного мира и прикованному к кровати человеку открывается совершенно иное видение вещей. Для Вулф болезнь – это трамплин, позволяющий вырваться за пределы расхожих истин, «радушного обмана» общества и начать воспринимать мир вне норм, как бы изнутри себя. В своем взгляде на болезнь она расходится с матерью Джулией Стивен, опытной сиделкой и автором практического руководства «Записки из комнат больных» (1883). Оба текста впервые публикуются на русском

языке и знакомят читателя с двумя разными способами письма о болезни от двух непохожих друг на друга женщин.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Содержание

Вирджиния Вулф

6

Конец ознакомительного фрагмента.

25

Вирджиния Вулф

Быть больным

Джулия Стивен

Записки из комнат больных

Virginia Woolf. On Being Ill

Julia Stephen. Notes From Sick Rooms

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2026

Вирджиния Вулф

Быть больным

Учитывая, насколько обыденна болезнь, какие колоссальные духовные перемены она влечет за собой, какие удивительные безвестные края открываются, когда гаснут огни здоровья, какие пустыни и пустоши души обнажает легкий приступ гриппа, какие обрывы и лужайки, усыпанные яркими цветами, выявляет небольшой подъем температуры, какие древние зачерствевшие дубы выкорчевывает из нас немощь, как мы погружаемся в бездну смерти и ощущаем, что воды уничтожения смыкаются над головой, и, когда нам вырывают зуб, просыпаемся, думая, что нас окружают ангелы и арфисты, и выныриваем на поверхность в кресле дантиста, и принимаем его «прополощите рот, прополощите рот» за приветствие Божества, сошедшего с небес на землю нам навстречу, – когда мы об этом думаем (а нам часто приходится об этом думать), кажется весьма странным, что болезнь не встала наравне с любовью, войной и ревностью в ряд главных тем литературы. Можно было бы вообразить, что гриппу посвящаются романы, тифу – эпические поэмы, пневмонии – оды, зубной боли – стихи. Но нет; за редкими исключениями – Де Квинси попробовал сделать нечто в этом роде в «Люби-

теле опиума»¹, а на страницах Пруста наверняка наберется болезней на том-другой – литература всячески демонстрирует, что ее заботит лишь разум; что тело – это лист прозрачного стекла, сквозь которое прямо и ясно смотрит душа и которое, за исключением пары страстей вроде вожделения и алчности, само по себе ничтожно, незначительно и несущественно. На самом же деле всё наоборот. Днями и ночами тело во всё вторгается; слабеет или набирается сил, краснеет или бледнеет, становится воском в июньскую жару, застывает салом в февральском мраке. Создание внутри может только смотреть сквозь окошко – чистое или заляпанное; не может ни на миг отделиться от тела, как нож от ножен или горошина от стручка; вынуждено проходить через нескончаемую череду перемен, жару и мороз, удобство и неудобство, голод и сытость, здоровье и болезнь, прежде чем наступит неизбежная катастрофа; тело рассыплется в прах, а душа (как говорят) освободится. Но об этих ежедневных телесных драмах нет ни строчки. Люди всегда пишут о делах разума; мыслях, его посетивших; благородных устремлениях; о том, как разум цивилизовал вселенную. Они показывают это, пренебрегая телом в башне философа; или же гоняют тело, как старый мяч из кожи, по снегам и пескам в погоне за победами или открытиями. Те великие битвы, которые тело вместе

¹ Полное название книги – «Исповедь англичанина, любителя опиума». – Здесь и далее астерисками обозначены примечания переводчика, а цифрами – примечания автора.

с подчиненным ему разумом ведет в уединении спальни против натиска лихорадки или наступления меланхолии, остаются незамеченными. Причину найти нетрудно. Чтобы прямо взглянуть на эти вещи, требуется смелость укротителя львов, жизнестойкая философия, разум, укорененный в недрах земли. Если же перечисленного нет, то этот монстр, тело, это чудо, его боль вскоре вынудят нас погрузиться в мистицизм или воспарить, быстро взмахивая крыльями, в экстаз трансцендентализма. Читатели скажут, что роману о гриппе недостает сюжета; будут жаловаться, что там совсем нет любви, – и будут неправы, ведь болезнь часто принимает обличье любви и выкидывает такие же странные фокусы. Она наделяет некоторые лица божественностью, заставляет нас час за часом дожидаться, наострив уши, скрипа ступени и облакает новой значимостью лица отсутствующих (совсем обыкновенные, когда ты здоров, небо тому свидетель), а разум сочиняет о них тысячи легенд и поэм, на которые в здоровом состоянии нет ни времени, ни желания. Наконец, описанию болезни в литературе мешает бедность языка. Английский способен выразить мысли Гамлета и трагедию Лира, но в нем нет слов для озноба или головной боли. Он разросся в одном направлении. Самая обыкновенная школьница, когда влюбляется, может говорить словами Шекспира и Китса; но если страдалец попробует описать доктору свою головную боль, то язык немедленно иссякнет. Наготове у него ничего нет. Он вынужден самостоятельно создавать слова и, взяв в одну

руку свою боль, а в другую – ком чистого звука (как, вероятно, в самом начале и делали жители Вавилона), так ударять одно о другое, чтобы выпадало совершенно новое слово. Вероятно, получится нечто смехотворное. Ведь кто из рожденных в Англии может вольничать с языком? Для нас это некая святыня, и поэтому она обречена на гибель, если только американцы – чей гений гораздо счастливее в создании новых слов, чем в распоряжении старыми, – не придут нам на помощь и не пробудят новые родники. Но нам нужен не только новый язык – более примитивный, более чувственный, более бесстыдный, – но и новая иерархия страстей; любовь должна уступить место температуре под сорок; ревность – приступу ишиаса; бессонница будет играть роль главного злодея, а героем станет белая жидкость со сладковатым вкусом, этот могучий принц с мотыльковыми глазами и оперенными ногами, одно из имен которого – Хлорал².

Вернемся к больному. «Я лежу с гриппом», – но что это сообщает о великом опыте; о том, как мир изменил очертания; все дела стали так незначительны; звуки праздника сделались романтическими, как музыка, которая доносится с карусели где-то за полями; и друзья переменились, одни обрели необыкновенную красоту, другие обезобразились до жабьей приземистости, а весь пейзаж жизни стал далек и прекрасен, словно берег, увиденный с корабля в открытом море, и вот больной взмывает ввысь, не нуждаясь ни в чьей по-

² Хлорал (хлоральдигидрат) – успокоительное и снотворное.

мощи — ни человека, ни Бога, а вот уже корчится на полу, радуясь тычку горничной, — этот опыт невозможно передать, и, как всегда бывает с подобными глупостями, его страдания лишь пробуждают в памяти друзей воспоминания об их приступах гриппа, их болях и недугах, которые остались неоплаканными в прошлом феврале, а теперь отчаянно, неотступно вызывают о божественном облегчении в виде сочувствия.

Но сочувствия нам быть не может. Премудрая Судьба отказывает в нем. Если ее дети, и без того отягощенные скорбями, взвалили бы на себя еще и это бремя, прибавив в воображении чужие страдания к собственным, то здания перестали бы возводиться; дороги заросли бы травой; пришел бы конец музыке и живописи; лишь один великий вздох возносился бы к небесам, а мужчины и женщины застыли бы в позах, выражающих ужас и отчаяние. Но пока всегда найдется, на что ненадолго переключиться, — шарманщик на углу больницы, магазин с книгой или безделушкой, который отвлечет внимание от тюрьмы или рабочего дома, некая абсурдность кошки или собаки, которая не даст превратить иероглифы несчастий старого бедняка в фолианты мрачных страданий; и поэтому многочисленные попытки проявить сочувствие, которого ждут от нас бараки боли и наказаний, эти засохшие символы горя, со смущением откладываются до следующего раза. Сочувствие в наши дни выражают по большей части бездельники и неудачники, в основном женщины (в которых старомодность, как ни странно, уживается с анархией и но-

ваторством), выбывшие из гонки и имеющие время на фантастические и неприбыльные эксперименты; К. Л., к примеру, сидя у чахлого больничного огня, сдержанными и в то же время выразительными штрихами рисует каминный экран, буханку хлеба, лампу, уличную шарманку и все повести старых женщин о происшествиях и передниках³; безрассудная, великодушная А. Р., которая, если вам захочется утешиться обществом гигантской черепахи или порадовать себя теорбой, перероет все лондонские рынки и умудрится к вечеру доставить вам всё это, завернув в бумагу; легкомысленная К. Т., наряженная в шелка и перья, напудренная и покрашенная (что тоже требует времени), словно на пир королей и королев, растрчивает весь свой блеск в сумраке больничной палаты, сплетнями и пародиями заставляя склянки звенеть, а пламя – разгораться. Но времена таких глупостей прошли, цивилизация указывает на иную цель, и будет ли в ней место черепахе и теорбе?

Признаемся (ведь болезнь – самое время для признаний), в болезни есть детская непосредственность; произносятся слова, выпаливаются истины, которые скрывает осторожная благопристойность здоровья. К примеру, о сочувствии – мы можем обойтись без него. Эта иллюзия мира, устроенного так, что каждый стон в нем отдается эхом, людей, так тесно связанных общими нуждами и страхами, что дернешь за одно запястье – дрогнет и другое, мира, где, каким бы стран-

³ Отсылка к роману Арнольда Беннета «Повесть о старых женщинах».

ным ни был твой опыт, другие тоже его переживали, где, как бы далеко ты ни отправился в воображении, кто-то уже побывал там до тебя, – всё это иллюзия. Мы не знаем собственной души, что уж говорить о чужих душах. Люди не проходят рука об руку весь путь. В каждом есть девственный лес, заснеженное поле, которому неведом даже след птичьей лапки. Мы идем одни, и это нам по нраву. Было бы невыносимо всегда встречать сочувствие, всегда быть в сопровождении, всегда видеть понимание. Но здоровым нужно поддерживать радушный обман и стараться вновь и вновь – общаться, просвещать, делиться, возделывать пустыню, воспитывать туземцев, работать вместе днем и веселиться ночью. Болезнь кладет конец этому притворству. Немедленно потребовав постель или глубоко погрузившись в подушки кресла, мы отрываем ноги хотя бы на дюйм от пола и отказываемся быть солдатами армии прямостоящих; мы становимся дезертирами. Они маршируют на бой. Мы плывем с ветками по течению; в хаосе опавших листьев на лужайке мы, безответственные и равнодушные, способны, быть может, впервые за долгие годы посмотреть вокруг, посмотреть вверх – посмотреть, например, на небо.

Первое впечатление от этого необыкновенного зрелища на удивление ошеломительно. Обычно подолгу смотреть на небо невозможно. Человек, глазеющий на небо, будет мешать прохожим и раздражать их. Кусочки неба, которые мы замечаем, испорчены дымоходами и церквями, служат фо-

ном для человека, означают промозглую погоду или ясную, малюют золотым на окнах и, заполняя промежутки между ветвями, довершают меланхолию растрепанных осенних платанов в осенних скверах. Теперь же, распростершись, глядя вверх, обнаруживаешь, что небо – нечто совсем другое, и это открытие потрясает. Так вот что происходило всё это время, а мы и не знали! – так беспрестанно создаются и разрушаются формы, так скучиваются облака, так тянутся громадные составы кораблей и поездов с севера на юг, так беспрестанно поднимаются и опускаются занавесы света и тени, так ведутся нескончаемые эксперименты с золотыми лучами и синими тенями, и солнце то затмевается, то открывается, и создаются каменные крепости, и уносятся ветром прочь – бесконечное действо, на которое тратится бог весть сколько миллионов лошадиных сил, разворачивается само по себе из года в год. Это обстоятельство, похоже, требует порицания или даже цензуры. Может, кто-то сообщит в The Times? Нужно же извлечь из этого хоть какую-то пользу. Нельзя допустить, чтобы этот гигантский фильм бесконечно показывался в пустом зале. Но посмотрите чуть дольше, и иное чувство вытеснит зарождающийся гражданский пыл. Божественно прекрасное – это и божественно бездушное. Несметные ресурсы расходуются с некоей целью, которая не имеет никакого отношения к человеческому удовольствию или человеческой выгоде. Даже если мы будем лежать ничком, застыв, небо всё равно будет экспериментировать со

своей синевой и своим золотом. Тогда, быть может, если мы посмотрим вниз на что-то очень маленькое, близкое, знакомое, то найдем сочувствие. Давайте взглянемся в розу. Мы столько раз видели ее в вазе, распустившуюся, так часто связывали ее с красотой в самом расцвете, что позабыли, как она стоит целый день в земле, неподвижная и непоколебимая. Она держится с совершенным достоинством и самообладанием. Краска ее лепестков бесподобно чистая. Сейчас один из них, возможно, неспешно падает; а вот и все цветы, чувственно пурпурные, кремовые, в чьей восковой плотности ложка оставила завиток цвета вишневого сока, гладиолусы; далии; лилии, церковные, культовые; цветы с простыми картонными воротничками оттенка абрикоса и янтаря – все нежно склоняют головы на ветру, все за исключением тяжелого подсолнуха, который гордо отдает должное солнцу в полдень и, быть может, в полночь дает отповедь луне. Вот они стоят, и именно их, самых спокойных, самых самодостаточных на свете, люди сделали своими спутниками; это они символизируют их страсти, украшают праздники и лежат (как будто сами познали горе) на подушках покойников. Удивительное дело, поэты усмотрели религию в природе; и люди живут в сельской местности, чтобы учиться благочестию у растений. В их безразличии они находят успокоение. Ту снежную равнину разума, куда не ступала нога человека, навещает облако, целует падающий лепесток; так и в другой сфере величайшие творцы, Мильтоны и Поупы, утешают не

своими мыслями о нас, а своим пренебрежением.

Тем временем, как бы ни было равнодушно небо и как бы ни были презрительны цветы, с героизмом муравьев или пчел армия прямостоящих марширует на бой. Миссис Джонс поспекает на поезд. Мистер Смит чинит автомобиль. Коров гонят домой на дойку. Мужчины кроют крышу соломой. Собаки лают. Грачи, поднявшись сетью, опускаются сетью на вязы. Волна жизни вздымается неутомимо. И только лежащие знают то, что Природа на самом деле и не трудится скрывать: в конце концов она победит; тепло покинет мир; околечев, мы перестанем тащиться по полям; лед скует фабрику и двигатель; солнце погаснет. И даже когда земля укроется и сделается скользкой, некая волнистость, некая неровность поверхности обозначит границу древнего сада, и там, бесстрашно вскинув головку в свете звезд, будет цвести роза, будет пламенеть крокус. Но пока мы у жизни на крючке, приходится трепыхаться. Мы не можем мирно застыть и превратиться в неподвижные курганы. Даже лежащие вскакивают при одной лишь мысли, что мороз пробирается к пальцам ног, и вытягиваются, чтобы воспользоваться всеобщей надеждой – Раем, Бессмертием. Разумеется, коль скоро люди все эти столетия мечтали, они не могли не привнести что-то в реальность своими мечтами; будет некий зеленый остров для отдохновения ума, пусть даже невозможно ступить туда ногой. Общее воображение человечества должно было начертить некий отчетливый контур. Но нет. Открыва-

ешь The Morning Post и читаешь, что написал о Небесах епископ Личфилдский. Смотришь, как прихожане идут чередой в величавые храмы, где в самый мрачный день, в самых сырых полях, будут гореть лампы, будут звонить колокола, и, как бы снаружи ни шелестели осенние листья и как бы ни вздыхали ветра, внутри надежды и мечты превратятся в веру и уверенность. Выглядят ли прихожане умиротворенными? Полны ли их глаза светом высшей убежденности? Осмелится ли кто-нибудь из них прыгнуть с Бичи-Хед⁴ напрямик в Рай? Только глупец будет задавать такие вопросы; а маленькая группа верующих идет, и бредет, и отстает. Мать изнурена, отец устал. Воображать Рай? Им не до того. Создание Рая следует оставить воображению поэтов. Без них мы можем лишь дурачиться – представлять Пипса на Небесах, намечать короткие беседы со знаменитыми людьми о пучках тимьяна, предаваться сплетням о тех наших друзьях, которые остались в Аду, или, того хуже, возвращаться на землю и делать выбор, ведь в выборе нет никакого вреда, чтобы жить вновь и вновь, то мужчиной, то женщиной, капитаном, придворной дамой, императором, женой фермера, в великолепных городах и в отдаленных топях, во времена Перикла, Артура, Карла Великого или Георга IV – жить и жить, покуда не проживем все те зачаточные жизни, которые возникают у нас в юности, пока их не подавит «Я». Но не должно «Я»,

⁴ Бичи-Хед – меловая скала в Восточном Суссексе, печально известная тем, что многие лишали себя жизни, прыгнув с нее в океан.

если оно способно меняться по желанию, захватывать еще и Рай и обрекать нас, отыгравших на земле свои роли как Уильям или Элис, оставаться Уильямом или Элис навеки. Сами по себе мы размышляем плотски. За нас должны вообразать поэты. Долг создания Рая должен быть возложен на Поэта-лауреата.

К поэтам мы и обращаемся. Болезнь отбивает у нас охоту к долгим кампаниям, которых требует проза. Мы не можем управлять всеми своими способностями, держать в напряжении разум, здравый смысл и память, пока одна глава качается над другой, и, когда она водворяется на свое место, нам следует готовиться к появлению следующей, и так до тех пор, пока вся конструкция – арки, башни и зубчатые стены – не встанет прочно на основание. «История упадка и разрушения Римской империи» – книга не для гриппа, как и «Золотая чаша»⁵ или «Мадам Бовари». Впрочем, когда ответственность отброшена и работа разума приостановлена (ибо кто будет требовать критических замечаний от больного, здравого смысла – от прикованного к постели?), в свои права вступают другие вкусы: внезапные, порывистые, напряженные. Мы крадем у поэтов их цветы. Мы обрываем одну-две строки и даем им раскрыться в глубине сознания:

and oft at eve

⁵ «Золотая чаша» – роман Генри Джеймса.

Visits the herds along the twilight meadows⁶
wandering in thick flocks along the mountains
Shepherded by the slow unwilling wind⁷.

А то и обнаруживаем целый трехтомный роман в стихе Харди или во фразе Лабрюйера. Ныряем в письма Лэма – некоторых прозаиков стоит читать как поэтов – и находим: «Я кровожадный убийца времени и мало-помалу убил бы его прямо сейчас. Но змей живуч». И кто объяснит этот восторг? Или откройте Рембо и прочтите:

O saisons o châteaux
Quelle âme est sans défauts?⁸

И кто даст рациональное объяснение этому очарованию? В болезни слова как будто обладают мистическим свойством. Мы постигаем то, что находится за поверхностным смыслом, инстинктивно собираем одно, другое, третье – звук, цвет, тут ударение, там паузу – то, что поэт, который знает, как скудны слова по сравнению с мыслями, разбросал по странице, чтобы всё вместе это вызвало состояние ду-

⁶ Строки из пьесы Джона Мильтона «Космос»: «...участлива, выходит // С закатом на прибрежные луга» (перевод Ю. Корнеева).

⁷ Строки из драмы в стихах Перси Биши Шелли «Освобожденный Прометей»: «...по горным склонам // Чуть шли стада рунообразных туч» (перевод К. Бальмонта).

⁸ Строки из стихотворения Артюра Рембо: «О замки, о смена времен! Недостатков кто не лишен?» (перевод М. Кудинова).

ши, не поддающееся ни выражению словами, ни объяснению рассудком. Непостижимость имеет огромную власть над нами в болезни – возможно, более законную, чем сочтет прямостоящий. Когда ты здоров, смысл вторгается в звук. Наш разум преобладает над чувствами. Но в болезни, когда полиция не дежурит, мы заползаем под какое-нибудь малоизвестное стихотворение Малларме или Донна, под какую-нибудь фразу на латыни или греческом, и слова источают свой аромат и раскрывают свой вкус, а потом, если мы наконец постигаем смысл, он оказывается богаче оттого, что сперва пришел к нам чувственно, через нёбо и ноздри, словно некий причудливый запах. Иностранцы, которым чужд наш язык, имеют перед нами преимущество. Китайцы, вероятно, знают звучание «Антония и Клеопатры» лучше нас.

Безрассудство – одно из свойств болезни, когда мы вне общего закона, и именно безрассудство необходимо нам для чтения Шекспира. Это не значит, что нам нужно клевать носом за чтением; это значит, что, когда наше сознание пребывает в полной ясности, эта слава смущает и утомляет и все воззрения всех критиков заглушают в нас гром убежденности; если она и иллюзия, то какая же полезная иллюзия, какое же потрясающее удовольствие, какой же мощный стимул к чтению великих. Шекспир плесневевает; патерналистское правительство может запретить писать о нем, подобно тому как поставило его памятник в Стратфорде вне досягае-

мости марающих бумагу пальцев⁹. При всем этом литературоведческом гуле вокруг можно наедине с собой высказать догадку, сделать пометку на полях; но, когда знаешь, что кто-то сказал это раньше или сказал это лучше, пыл угасает. Болезнь в своем царственном величии отмечает всё в сторону и оставляет лишь Шекспира и тебя. Благодаря его непомерной мощи и нашей непомерной самонадеянности преграды рушатся, узлы развязываются, в мозгу звучат и откликаются Лир или Макбет, и даже сам Кольридж пищит, как мышь под полом.

Но довольно о Шекспире – давайте обратимся к Августусу Геру¹⁰. Некоторые говорят, что даже болезнь не оправдывает таких переходов; что автор «Истории двух благородных жизней» не ровня Босуэллу¹¹; и если утверждать, что кроме лучшего в литературе нам нравится худшее в ней – отвратительна лишь посредственность, – то и этого у него нет. Да будет так. Закон на стороне нормальности. Но для тех, кто переживает незначительное повышение температуры, имена Гера, Уотерфорда и Каннинга испускают лучи благотворного сияния. Только не первую сотню страниц или около того.

⁹ Вероятно, Вирджиния Вулф говорит о надгробном памятнике Шекспиру в церкви Святой Троицы: в правой руке скульптуры – гусиное перо, которое не раз воровали, так что приходилось заменять его новым.

¹⁰ Августус Гер (1834–1903) – английский писатель, автор романа «История двух благородных жизней» (на русский не переведен).

¹¹ Джеймс Босуэлл (1740–1795) – шотландский писатель, автор двухтомника «Жизнь Сэмюэла Джонсона».

Там, как часто бывает в этих толстых томах, мы барахтаемся и чуть ли не тонем в изобилии тетушек и дядюшек. Приходится напоминать себе, что есть такая вещь, как атмосфера; что сами мастера часто держат нас в невыносимом ожидании, готовя наш разум к чему бы то ни было – неожиданности или отсутствию неожиданности. Вот и Гер не торопится; очарование подбирается к нам незаметно; постепенно мы становимся почти членами семьи, но не вполне, ведь ощущение странности всё равно остается, и мы разделяем семейное смятение, когда лорд Стюарт покидает зал во время бала, а в следующий раз о нем слышат, когда он уже в Исландии. Приемы, говорит он, ему наскучили – таковы были английские аристократы, пока брак с интеллектом не осквернил изысканное своеобразие их умов. Приемы им наскучили; они уезжают в Исландию. Затем его охватила бекфордова¹² одержимость строительством замков; он должен перевезти французский *château* через Ла-Манш и за немислимые деньги возвести башенки и пинакли для спален слуг, да еще и на краю осыпающегося утеса, чтобы служанки видели, как их метлы плывут вниз по Те-Соленту, и леди Стюарт была весьма огорчена, но не падала духом и, как и подобало леди благородного происхождения, начала сажать вечнозеленые растения перед лицом разрухи. Тем временем до-

¹² Речь о богатом писателе Уильяме Бекфорде (1760–1844), построившем аббатство Фонтхилл в готическом стиле с высокой башней, которая несколько раз обрушивалась.

чери, Шарлотта и Луиза, росли в своей несравненной прелести, с карандашами в руках, вечно рисуя, танцуя, флиртуя, в кисейной дымке. Их правда сложно различить. Ведь жизнь тогда была не жизнью Шарлотты и Луизы. То была жизнь семей, групп. Это была паутина, сеть, раскинутая широко и опутывавшая всех кузенов и кузин, приживал и старых слуг. Тетушки – тетя Каледон, тетя Мексборо – и бабушки – бабушка Стюарт, бабушка Хардвик – собираются в хор голосов и вместе радуются, скорбят, едят рождественский ужин, и становятся очень старыми, и остаются очень прямыми, и сидят в креслах с капюшонами, вырезая цветы, кажется, из цветной бумаги. Шарлотта вышла за Каннинга и уехала в Индию; Луиза вышла за лорда Уотерфорда и уехала в Ирландию. Тут письма начинают пересекать обширные пространства на медленных парусных кораблях, и общение становится еще более затянутым и многословным, и, кажется, нет конца пространству и приволью этих ранних викторианских дней, и утрачиваются веры, и жизнь Хедли Викарса¹³ их возрождает; тетушки простужаются, но выздоравливают; кузины выходят замуж; в Ирландии голод, а в Индии восстание, и обе сестры остаются, к их великому, но безмолвному горю, без детей, которые пришли бы им на смену. Луизе, маявшейся в Ирландии, где лорд Уотерфорд целыми днями пропадал на охоте, часто бывало одиноко; но она хранила

¹³ Хедли Викарс (1826–1855) – глубоко верующий офицер Британской армии, погибший в Крымской войне.

верность своему делу, навещала бедных, произносила слова утешения («Мне очень жаль слышать, что Энтони Томпсон потерял рассудок или, вернее сказать, память; однако раз ему хватает разума, чтобы уповать лишь на нашего Спасителя, значит, рассудка у него достаточно») и всё рисовала, рисовала. Тысячи блокнотов заполнены вечерними рисунками карандашом и тушью, затем плотник натянул для нее бумажные листы и она создала росписи для школьных классов, ей в спальню приводили живую овцу, она облекала егерей в одеяла, в изобилии писала Святое семейство, пока великий Уоттс не воскликнул, что она не хуже Тициана и пример Рафаэлю. На это леди Уотерфорд рассмеялась (у нее было изрядное и щедрое чувство юмора) и сказала, что она всего-навсего рисовальщица и едва ли была хоть на одном уроке в жизни – взгляните на возмутительно недоделанные крылья ее ангела. Кроме того, дом ее отца вечно падал в воду, она должна его подпирать, обязана развлекать друзей и заполнять свои дни всякого рода благотворительными делами, пока не вернется с охоты ее лорд, и потом, обыкновенно в полночь, сидя возле него под лампой с блокнотом, она будет рисовать рыцарское лицо мужа, наполовину скрытое в тарелке супа. Величавый, словно крестоносец, он снова ускачет охотиться на лис, она будет махать ему и каждый раз думать, а что, если этот раз – последний? И тем зимним утром так и случилось; его конь споткнулся; он погиб. Она знала это еще до того, как ей сообщили, и сэр Джон Лесли так и

не смог забыть ни — когда сбегал в день похорон по лестнице — красоты благородной леди, провожавшей взглядом катафалк, ни — когда вернулся — того, что портьера, тяжелая, средневикторианская, возможно бархатная, была смята там, где она вцепилась в нее в агонии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.